

Михаил Салтыков-Щедрин

Наш дружеский хлам



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Наш дружеский хлам

Текст предоставлен правообладателем

Наш дружеский хлам:

Аннотация

«...Если я, например, встречаю на улице его превосходительство Ивана Фомича и вижу, что в очах его плавают маслянистая влага, а сам он при встрече со мной покрывается пурпуром стыдливости и смотрит на меня с каким-то детским простодушием, как будто хочет сказать: «Посмотри, как я невинен! и посмотри, как хороша природа и как легка жизнь для чистых сердцем!» – то я положительно знаю, что и этот пурпур, и эта влага блаженства, и эта ясность души происходят совсем не оттого, что его превосходительство был на секретном любовном свидании, а оттого, что в том заведении, в котором он состоит аристократом, происходили сего числа торги. И по степени влажности глаз, и по большей или меньшей невинности их выражения я безошибочно заключаю о степени успешности торгов... К чему, скажите на милость, были бы тут вопросы, вроде: «Как поживаете, каково прижимаете?» К чему тут ласки, коварства и уверения, если я определительно вижу, что сей человек счастлив, что душа его полна музыки и что весь он погружен в какие-то сладкие, неземные созерцания?...»

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Наш дружеский хлам

Когда мы, губернские аристократы, собираемся друг у друга по вечерам, какого рода может быть у нас между собою беседа? Перемываем ли мы косточки своих ближних, беседуем ли о существе лежащих на нас обязанностей, сообщаем ли друг другу о наших служебных и сердечных *bonnes fortunes*, о том, например, что сегодня утром был у нас подрядчик Скопищев, а завтра мы ждем заводчика Белугина и проч. и проч.?

На все эти вопросы я с гордостью могу отвечать, что обыденная, будничная жизнь не составляет и не может составлять достойной канвы для наших салонных разговоров. Утром, запершись в своих жилых комнатах, мы можем, а la *rigue*, переворачивать наше грязное белье, беседовать с нашими секретарями и принимать различного рода антрепренеров, но с той минуты, как мы покидаем жилые комнаты и являемся в наши салоны, все эти неопрятности мгновенно исчезают, подобно тому как исчезают клопы и другие насекомые, гонимые светом дня. Как люди благовоспитанные, мы являемся в наши салоны не иначе, как во фраках, и очень хорошо понимаем, что, находясь в обществе, не имеем пра-

ва тревожить чье-либо обоняние эманациями нашего заднего двора.

Да и какой интерес могло бы представлять для нас это переворачиванье домашнего хлама, когда нам до такой степени известны и переизвестны все наши маленькие делишки, наши карманные скорби и любостыжательные радости, что мы, как древние авгуры, взглянуть друг на друга без того не можем, чтоб не расхохотаться?

Если я, например, встречаю на улице его превосходительство Ивана Фомича и вижу, что в очах его плавают маслянистая влага, а сам он при встрече со мной покрывается пурпуром стыдливости и смотрит на меня с каким-то детским простодушием, как будто хочет сказать: «Посмотри, как я невинен! и посмотри, как хороша природа и как легка жизнь для чистых сердцем!» – то я положительно знаю, что и этот пурпур, и эта влага блаженства, и эта ясность души происходят совсем не оттого, что его превосходительство был на секретном любовном свидании, а оттого, что в том заведении, в котором он состоит аристократом, происходили сего числа торги. И по степени влажности глаз, и по большей или меньшей невинности их выражения я безошибочно заключаю о степени успешности торгов... К чему, скажите на милость, были бы тут вопросы, вроде: «Как поживаете, каково прижимаете?» К чему тут ласки, коварства и уверения, если я определительно вижу, что сей человек счастлив, что душа его полна музыки и что весь он погружен в какие-то сладкие,

неземные созерцания? И действительно, встречи наши происходят в молчании; он посмотрит на меня ласково и признательно, я взгляну на него симпатически; он скажет: «Гм!», и я скажу: «Гм!»... и мы расходимся каждый по своему делу.

Или, например, когда я вижу другого аристократа, генерала Голубчикова, пробирающегося часов в шесть пополудни бочком по темному переулку и робко при этом озирающегося, то положительно могу сказать, что генерал пробирается не к кому другому, а именно к привилегированной бабке Шарлотте Ивановне. Хотя же его превосходительство, заметив меня, и начинает помахивать тросточкой, делая вид, что он гуляет, но я отнюдь не отважусь предложить ему пройтись вместе со мною, потому что твердо знаю, что такого рода предложение вконец уязвит его пылающее сердце. Руководясь этою мыслью, я прикасаюсь слегка к полям моей шляпы и говорю: «Гм!» Генерал, который в другое время тоже ответил бы мне *a la militaire*, в настоящем случае считает излишним снять с головы своей шляпу совершенно (не погуби! дескать), и тоже говорит: «Гм!»... и мы расходимся. А между тем дорогой воображение уже рисует передо мной образы. С одной стороны я вижу маленького генералика, совершенно пропадающего в объятиях дебелой привилегированной бабки, а с другой стороны, величественную и не менее дебелую генеральшу, спокойно предающуюся дома послеобеденному сну и вовсе не подозревающую, что ее крошечный Юпитерик нашел в захолустье какую-то вольного поведения Ио и

воспитывает ее в явный ущерб своей Юноне.

И еще, например, если я вижу в восемь часов утра известного подрядчика Скопищева, стучащегося в двери дома, занимаемого капитаном Малаховичем, то отнюдь не думаю, чтоб Скопищев очутился здесь ни свет ни заря затем только, чтоб узнать о здоровье супруги и детей пана Малаховича, но с полною достоверностью заключаю, что ранний визит этот имеет тесную связь с постройкой земляной дамбы в городе ***. При этом в уме моем естественно возникает вопрос: «Если от пятнадцати тысяч отделить двадцать процентов, то какая составитя из этого сумма?» И в это самое время, поравнявшись с капитанскою квартирой, я усматриваю в одном из окон толстенькую фигуру, к чему-то канальски прислушивающуюся. Заметив меня, капитан несколько краснеет (вероятно, оттого, что я видел его в утреннем неглиже), произносит: «Гм!» – и поспешно удаляется от окна.

– То-то «гм!», – произношу и я в свою очередь и продолжаю идти своею дорогой.

Скажите на милость, к чему же было бы нам беседовать о том, для уразумения чего достаточно одного движения губ, одной мимолетной искры в глазах, одного помавания головы?

И действительно, канвою для наших разговоров служат предметы, несравненно более возвышенные. Надо вам сказать, благосклонный читатель, что хотя мы и называемся «губернскими аристократами», но, к великому прискорбию,

аристократичность наша довольно сомнительная. Мы, что называется, аристократы с подлинною. Отечеством большей части из нас служили четвертые этажи тех поражающих опрятностью казенных зданий, которые во множестве украшают Петербург и в которых благополучно процветают всех возможных видов и цветов экзекуторы и экспедиторы. Там мы увидели свет, там возросли и воспитывались, и если сам Петербург способен производить только чиновников и болотные испарения, то можно себе вообразить, на производство какого рода изделий способны упомянутые выше четвертые этажи? И действительно, мы вполне прошли всю суровую школу безгласности и смиренномудрия; мы были по очереди и секретарями и приказчиками у имеющих власть людей, и поставщиками духов, собачек и румян у их жен, и забавою у их гостей. Мы безмерно радовались и безобразию наших носов, и геморроидальному цвету наших лиц, потому что все это составляло предмет забавы и увеселения для наших благодетелей и вместе с тем заключало в себе источник нашего будущего благополучия – нашу фортуна и нашу карьеру!! Наконец, после долгих лет терпения и томных искательств, мы получили дипломы на звание губернских аристократов с правом владеть сколько душе угодно. Поначалу свежий воздух провинции сшиб было нас с ног, однако, свикшись с малолетства со всякого рода огнепостоянностями, мы устояли и здесь, и мало того, что устояли, но даже озаботились устроить вокруг себя ту самую атмосферу, кото-

рая всечасно напоминает нашим носам передние наших благодетелей. Очевидно, что при таком направлении умов все наши симпатии, все вздохи и порывания должны стремиться к нему, к этому милому Петербургу, где проведена была наша золотушная молодость и где у каждого из нас имеется по крайней мере до двадцати пяти штук приятельски знакомых начальников отделения.

Дни прихода петербургской почты бывают в нашем обществе днями какой-то тревожной и вместе с тем восторженной деятельности. Это и понятно, потому что в эти дни мы получаем письма от наших приятелей – начальников отделения. Мы поспешаем друг к другу, чтоб поделиться свежими вестями, и вот образуется между нами живая и интимная беседа.

– Ну что, ваше превосходительство, – спрашиваю я у генерала Голубчикова, – получили что-нибудь из столицы?

– Как же-с, как же-с, ваше превосходительство! – отвечает генерал, потирая руки, – граф Петр Васильевич не оставляет-таки меня без приятных известий о себе...

– Так вы получили письмо от самого графа? – спрашиваю я, несколько подзадоренный.

– Мм... да, – отвечает генерал таким тоном, как будто ему на все наплевать, – граф частенько-таки изволит переписываться со мной!

– Мм... да, – произношу я и, в свою очередь, не желая уступить генералу Голубчикову, еще с большим равнодуши-

ем прибавляю: – А я так получил письмо от князя Николая Андреича... Каждую почту пишет! даже надоел старик!

И если при этом я положительно убежден, что генерал Голубчиков соврал постыднейшим образом, то генерал, с своей стороны, столь же положительно убежден, что и я соврал не менее постыдно, что не мешает нам, однако, остаться совершенно довольными нашим разговором.

– Скажите пожалуйста! – удивляется в другом углу его превосходительство Иван Фомич, слушающий чтение какого-то письма.

– «...Внушили себе, будто на лбу ихнем фиговое дерево произрастает, и никто сей горькой мысли из ума их сиятельства изгнать не может», – раздается звучный голос статского советника Генералова, читающего вслух упомянутое письмо.

– Да правда ли это? от кого вы получили это письмо? – сыплются с разных сторон вопросы.

– От экзе... от директора, – скороговоркой поправляется статский советник Генералов, поспешно пряча письмо в карман.

– А крепкий был старик! – говорит генерал Голубчиков, которого, как не служащего под начальством таинственного «их сиятельства», описанное выше происшествие интересует только с психической точки зрения.

– Н-да... крепкий... – в раздумье и словно машинально повторяет недавно определенный молодой председатель Ку-

рилкин, при чтении письма как будто струсивший и побледневший.

– Я с князем еще в то время познакомился, – ораторствует генерал Голубчиков, – когда столоначальником в департаменте служил. И представьте себе, какой однажды со мной случай был...

– Н-да, случай!.. – повторяет Курилкин, у которого уже помутились взоры от полученного известия.

– Вы как будто нездоровы, Иван Павлыч? – обращается с участием к Курилкину Иван Фомич.

– Нет... я ничего, – скороговоркой отвечает Курилкин, – *au fait*, что мне князь?

– «Что он Гекубе, что она ему»? – раздается сзади шепот титулярного советника Корепанова, принимаемого, несмотря на свой чин, в нашем маленьком аристократическом кружке за *somme il faut*, но, к сожалению, разыгрывающего неприятную роль какого-то губернского Мефистофеля.

– Да-с, так вот какой у нас с князем случай был, – продолжает генерал Голубчиков, – вхожу я однажды в приемную к князю, только вижу – сидит дежурный чиновник, а лицо незнакомое. Признаюсь, я еще в то время подумал: «Что это за чиновник такой? как будто дежурный, а лицо незнакомое?» Ну-с, хорошо, подхожу я к этому чиновнику и говорю: «Доложите их сиятельству, что явился такой-то». – «Не принимают, говорит, их сиятельство нездоровы». Ну, а я с графом был всегда в коротких отношениях, следственно для

меня слово «не принимают» не существовало... Вот и пришла мне в голову мысль: дай-ка, думаю, подтруню над молодым человеком, – и, знаете, пресерьезно этак говорю ему: «Жаль, говорю, очень жаль, что не принимают». – «Да-с, говорит, не принимают». Только можете себе представить, в это самое время распахивается дверь кабинета, и выходит оттуда камердинер князя, Павел Дорофеич... знаете Павла Дорофеича?

– Знаем! знаем! Павла Дорофеича целый Петербург знает! – кричим мы как-то особенно радостно.

– А из-за Павла Дорофеича выглядывает и сам князь. «А, говорит, это ты, Гаврил Петрович! а меня, брат, сегодня „прохлады“ совсем замучили (он „это“ прохладами называл), так я не велел никого принимать... Ну, а тебя можно!..» Только, можете себе представить, какую изумленную физиономию скорчил при этом дежурный чиновник!

– Да, интересный случай! – замечает статский советник Генералов, сладко вздыхая.

– Случай с запахом, – перебивает Корепанов.

– Предобрый старик! – говорит его превосходительство Иван Фомич, поспешая заглушить своим голосом неприятную заметку Корепанова.

– Добрый, именно добрый! – не смущаясь, продолжает генерал Голубчиков, – и какое доверие ко мне имел, так это даже непостижимо! Бывало, сидим мы с глазу на глаз: я бумаги докладываю, он слушает. «А что, Гаврил Петрович, – вдруг

скажет, – прикажи-ка, брат, мне трубку подать!» Ну, я, разумеется, сейчас брошусь: сам все это сделаю, сам набью, сам бумажку зажгу, сам подам... И что ж вы думаете, господа? даже никакой я в это время робости не чувствовал! – точно вот с своим братом, начальником отделения, беседуешь! Он трубочку покуривает, а я бумаги продолжаю докладывать... просто как будто ничего не бывало!

– Жаль, очень жаль будет, если этакого человека лишится отечество! – говорит Иван Фомич.

– Н-да... отечество! – повторяет Курилкин, по-видимому возвратившийся к прежнему раздумью.

– А еще говорят, что вельможи все горды да неприступны! – продолжает Иван Фомич, – ничуть не бывало!

– Это говорят те, ваше превосходительство, – весьма основательно замечает генерал Голубчиков, – которые настоящих-то вельмож и в глаза не видали. А вот как мы с вами и в халатике с ними посиживали, и трубочки покуривали, так действительно можем удостоверить, что вся разница между вельможей и обыкновенным человеком только в том состоит, что у вельможи в обхождении аромат какой-то есть...

– «Прохлады»! – ворчит сквозь зубы Корепанов.

– Наш князь, – вступается статский советник Генералов, – так тот больше все левой рукой действует. И на стул левой рукой указывает, и подает все левую руку.

– А что вы думаете? – говорит генерал Голубчиков, – ведь это именно правда, что у вельмож левая рука всегда как-то

более развита!

– Я полагаю, что в этом свой расчет есть, – глубокомысленно замечает Иван Фомич.

– То есть не столько расчет, сколько грация, – возражает Голубчиков.

– Никак нет-с, ваше превосходительство, не грация, а именно расчет-с..

– Нет... зачем же непременно «расчет»? Я, напротив того, положительно убежден, что грация, – говорит Голубчиков, задетый за живое настойчивостью Ивана Фомича.

– А я, напротив того, положительно убежден, что расчет, и имею на это доказательства.

– Это очень любопытно!

– И именно я полагаю, что всякий вельможа хочет этим дать понять, что правая рука у него занята государственными соображениями.

– Ну-с... а левая рука тут зачем-с?

– А левая рука, как свободная от занятий, предлагается посетителям-с...

– Ну-с... а дальше что-с?

– Ну-с, а дальше то же самое.

– Та-а-к-с!

С прискорбием мы замечаем, что генералы наши не прочь посчитаться друг с другом. Известно нам, что между ними издревле существует худо скрытая вражда, основанием которой служит взаимное соперничество по части знакомства

с вельможами. Поэтому, хотя мы и питаем надежды на деликатность генерала Голубчикова, но вместе с тем чувствуем, что еще одна маленькая капля, и генеральское сердце безвозвратно преисполнится скорбью. Действительно, он взирает на Ивана Фомича с кротким, но горестным изумлением; Иван же Фомич не только не тронут этим, но, напротив того, устроил руки свои фертотом и в этом положении как будто посмеивается над всеми громами и молниями. Положение делается до такой степени натянутым, что статский советник Генералов считает своею обязанностью немедленно вмешаться в это дело.

– Я думаю, ваше превосходительство, – обращается он к генералу Голубчикову, – что и в самой грации может быть расчет, точно так же как и в расчете может быть грация...

– Дело возможное! – отвечает генерал холодно, явно показывая, что он старый воробей, которого никакими компромиссами не надуешь.

Разговор снова заминается, и все мы чувствуем себя несколько сконфуженными. Холодность генерала свинцовой тучей легла на наше общество, и нет, кажется, столь сильного солнечного луча, который мог бы с успехом разбить эту тучу. Мы все знаем, что Голубчиков преамбициозный старик и что едва ли он не единственный из наших аристократов, о котором мы с уверенностью можем сказать, что он в один платок с вельможами сморкается. Все мы, прочие, в этих случаях более или менее прилыгаем, и если уверяем иногда,

что при таких-то обстоятельствах такой-то князь сказал нам «ты» и назвал «любезнейшим», то этому можно верить и не верить. Но генерал Голубчиков действительно вполне чист в этом отношении, и если уж скажет, например, что однажды в его присутствии князь Петр Алексеевич учинил декольте, то никто не имеет повода усумниться, что это именно так и было. «И для чего бы Ивану Фомичу не уступить! – думаем мы, внутренне соболезнуя о происшедшем, – с одной стороны, Ивану Фомичу следовало бы сделать небольшую уступочку, а с другой, и генералу не мешало бы взглянуть на дело по-снисходительнее... и все было бы ладно, все было бы смиренно и мирно и очень хорошо – так-то! А то вот дернула нелегкая – ахтихти-хти!» Но покуда мы только рассуждаем, статский советник Генералов уже принимает действительные меры к замирению враждующих сторон. Он прежде всего начинает заигрывать с генералом Голубчиковым, как наиболее неподатливым.

– Не получили ли чего-нибудь от графа насчет «этого» (крестьянского) дела, ваше превосходительство? – спрашивает он.

– Получил-с, – упорствует генерал в холодности.

– Ваше превосходительство всегда самые верные сведения иметь изволите, – не менее упорно продолжает заигрывать Генералов.

– Сам по себе я никаких сведений не имею, но конечно... доверие его сиятельства... одним словом, могу-таки в неко-

торых делах посодействовать...

– Как же-с, как же-с, ваше превосходительство! – ведь вы с графом-то даже несколько «свои»?

– Даже и не несколько, – отвечает генерал, постепенно смягчаясь, – потому что моя Анна Федоровна положительным образом приходится внучатной племянницей Прасковье Ивановне, а Прасковья Ивановна, как вам известно...

– Да, если кто заслужить у графа желает, так это именно что стоит только к Прасковье Ивановне дорогу найти! – восклицаем мы хором.

– И представьте, что я открыл это родство совершенно случайно! Однажды прихожу к Прасковье Ивановне по хозяйственным ее делам, а ей вдруг и приди на мысль спросить меня: «А что, говорит, ты женат или холостой?» – «Женат, говорю, ваше сиятельство, на Греховой». «Ах, говорит, да ведь жена-то твоя мне внучатной племянницей приходится!» Начали мы тут разбирать да распутывать – ан и открылось! А не приди ей на мысль спросить меня, так бы оно и осталось под спудом...

Хотя мы неоднократно уже слышали этот анекдот, но считаем долгом и на сей раз выслушать его с полным благоговением. Вообще, ничто так не услаждает наших досугов, как разбор родства и свойства сильных мира сего. По-видимому, это весьма мало до нас касается, потому что собственно наши родственники суть экзекуторы и экспедиторы, но таково уже свойство людей происхождения благородного, что

они постоянно стремятся к сферам возвышенным, изменности же предоставляют низкому классу. Не радостно ли, например, услышать, что граф Алексей Николаич выдает дочь свою замуж за сына князя Льва Семеныча? Не интересно ли при этом сообразить, что за молодую княгиней дано в приданое столько-то тысяч душ, да у молодого князя с своей стороны столько-то тысяч? Не знаю, как в других местах, а в нашем городе и в нашем обществе всякая новая семейная радость наших вельмож поистине составляет семейную радость каждого из нас.

– Да, господа, геральдика – важная вещь! – продолжает между тем Голубчиков, – нельзя не сожалеть, что в нашем отечестве наука эта находится еще в младенческом состоянии...

Под влиянием всех этих напоминаний Иван Фомич, который доселе пребывал в закоснелости, делает первый шаг, чтоб окончательно смягчить неудовольствие генерала Голубчикова.

– И благоприятные известия изволили получить, ваше превосходительство? – вопрошает он заискивающим голосом.

– Самые благоприятные-с.

– То есть в каком же роде?

– В самом благонадежном-с. Короче сказать: опасений никаких иметь не следует.

Генерал окидывает нас торжествующим оком. Мы все

легко и весело вздрагиваем; некоторые из нас произносят: «Слава богу!» – и крестятся.

И не оттого совсем мы крестимся, чтоб от «этого» дела был для нас ущерб или посрамление, а оттого единственно, что спокойствие и порядок любим. Сами по себе мы не землевладельцы, и хотя у нас имеются некоторые благоприобретенные маестности, но они заключаются преимущественно в ломбардных билетах, которые мы спешим в настоящее время променивать на пятипроцентные. Итак, не корысть и не холодный эгоизм руководит нашими действиями и побуждениями, а собственно, так сказать, патриотизм. Сей последний в различных людях производит различные действия. Иных побуждает он лезть на стену, иных стулья ломать... нас же побуждает стоять смирно. Согласитесь, что и это своего рода действие! Мы до такой степени любим наше Отечество в том виде, в каком оно существовало и существует издревле (*au naturel*), что не смеем даже вообразить себе, чтоб могли потребоваться в фигуре его какие-нибудь изменения. Конечно, мы не хуже других понимаем, что нельзя иногда без того, чтоб фестончик какой-нибудь не поправить... ну, там помощника, что ли, к становому прикинуть, или даже и целый департаментик для пользы общей сочинить – слова нет! Но все это так, чтоб величия-то древнего не нарушить, чтоб гармонию-то прежнюю соблюсти, чтобы всякое дыхание бога хвалило, чтобы и травка – и та радовалась!

Такой образ мыслей, по мнению моему, есть самый бла-

гонадежный и основанный на истинном понимании вещей. Чтоб сделать мысль мою осязательнее, прибегну к сравнению. Благоразумно ли было бы с моей стороны, если бы я, например, заявил желание, чтоб у генерала Голубчикова был римский нос? Нет, неблагоприятно. Во-первых, потому, что он и ныне состоящим у него на лице учтиво вздернутым башмачком приводит в трепет сердца всех повивальных бабок, а во-вторых, потому, что месторождение римских носов – Рим, а не Россия (самое название достаточно о том свидетельствует). Другой вопрос: благоприятно ли было бы, если бы я пожелал, чтоб на скотном дворе пахло фиалкой, а не навозом? Нет, неблагоприятно, ибо запах фиалки приличествует гостиным, а не скотным дворам. Примеров подобного рода безумных желаний можно привести множество, но и приведенных двух, кажется, вполне достаточно, чтоб убедить всех и каждого, что в иных случаях желание нововведений и каких-то там перемен совершенно равносильно тому, как бы кто настаивал, чтоб у отечества нашего вырос римский нос.

– Итак, это дельце в архив можно сдать? – говорит Иван Фомич, весело потирая руки.

– Как видно-с.

– Да-с; это, что называется...

– Всегда должно было ожидать.

– А ведь сначала-то оно было пошло... тово...

– Да, бойко, бойко было пошло.

– Политика – и больше ничего!

– Конечно, политика! Да оно и натурально, – продолжает ораторствовать Голубчиков, – мы только тем и крепки, господа, что никогда никаких вредных нововведений не принимали, а жили, с помощью божией, как завещали нам предки.

– Однако Петр Великий, ваше превосходительство?.. – учтиво замечает Генералов.

– Ну что ж... хоть и Петр Великий! бороды сбрить приказать изволил – и больше ничего!

– Регулярное войско завел-с! – диким голосом отзывается из отдаленного угла батальонный командир, который упорно молчал, покуда, по его мнению, разговор касался гражданской части.

– Уж Петр Михайлыч не может утерпеть без того, чтоб за свою часть не заступиться! – говорит Иван Фомич, ласково подмигивая.

– В гражданскую часть не вступаюсь-с, а своего дела не упущу-с! – как-то особенно исправно скандует командир, как будто получает за это благодарность по корпусу.

– Ну что ж!.. хоть бы и регулярное войско! – не смущается Голубчиков, – это только для спокойствия – и больше ничего! Однако никаких этаких машин или, например, чтоб Иван назывался Матвеем, а Матвей Сидором (как нынче) – ничего этого не бывало!

– А нынче это бывает? – любознательно спрашивает Корепанов.

– Бывает-с, – холодно отвечает Голубчиков.

Нет сомнения, что размышления и соображения насчет величественного хода нашей истории могли бы завлечь нас довольно далеко, но появление милой хозяйки дома весьма естественно прерывает тонкую нить наших исторических разысканий. Анна Федоровна издревле пользуется репутацией любезности и неотразимой очаровательности. Еще в Казани, в доме своих родителей, она уже умела быть самой приятною и самой занимательною из всех туземных девиц, несмотря на то, что в этом городе, при помощи разных учебных заведений, уровень любезности вообще стоит довольно высоко. Потом, приняв к себе в компанию генерала Голубчикова, Анна Федоровна сделала с ним не столько артистическое, сколько полезное путешествие по России, успела очаровать Пермь, оставила отрадное впечатление в Рязани и овладела всеми сердцами в Симбирске. В настоящее время она председательствует в нашем городе, и председательствует с тем тактом, который ясно свидетельствует, что, и не выходя из министерства финансов, женщина может оставаться обворожительною. Хотя она является в нашем (мужском) обществе на минуту, тем не менее ни одного из нас не оставит без того, чтоб не подарить какою-нибудь любезностью, доказывая тем осязательно, что для умной женщины минута имеет не шестьдесят секунд, а столько, сколько ей захочется. Мне сказывали (не знаю, в какой степени это достоверно), что она даже секретаря своей палаты не оставляет без

вопроса о здоровье жены и детей его в то время, когда этот достойный муж, посидев с утренним визитом в кабинете его превосходительства, с пустыми руками и красный как рак перебегает через зал в прихожую.

– Вы, конечно, серьезными делами заняты, *messieurs*? – обращается она, окидывая всех нас ласковым взглядом.

– Нет, тряпками! – любезно отзывается генерал, который между дамами нашего общества пользуется репутацией милого гроньяра.

– Однако мужчины имеют о бедных женщинах самое обидное понятие! как будто мы только и можем быть заняты что тряпками... – говорит генеральша, слегка вздыхая.

И затем, сделав каждому из нас приятный вопрос («*la sante de madame est toujours bonne?*») или: «а у вашего Колечки уже прорезались зубки, Иван Фомич?»), она удаляется, увлекши за собой во внутренние покои Корепанова, который, как человек молодой и холостой, может, конечно, принести больше удовольствия ее *demoiselles*, нежели нам.

После этого из внутренних покоев к нам высылаются превосходно сервированный чай с превкусными сдобными булками, причем генерал весьма приветливо замечает: «Вот это так дамское дело... хозяйничать... чай разливать...»

– А ведь русский народ именно добрый народ! – говорит Иван Фомич, который, как любитель отечественной старины (он в свое время, служа в департаменте, целый архив в порядок привел), сторает нетерпением навести разговор на

прежнюю тему.

– Кроткий народ! – подтверждает генерал Голубчиков.

– И терпелив-с! – отзывается командир.

– Н-да; этакой народ стоит того, чтоб о нем позаботиться! – говорит генерал, и в глаза его внезапно закрадывается какое-то удивительное блаженство, чуть-чуть лишь подернутое меланхолией, как будто он в ту же минуту рад-радехонек был бы озаботиться, но это не от него зависит.

– В нынешнем году все пайки простил-с! – вмешивается командир.

– Все? – спрашивает Голубчиков, вконец побежденный таким великодушием.

– Решительно все-с!

– Какая, однако ж, похвальная черта!

– Желательно было бы, знаете, изучить его, – предлагает Иван Фомич.

– То есть в каком же это смысле?

– Ну там... нужды... желания...

– Гм... я, однако ж, не думаю, чтоб это могло принести ожидаемую пользу.

– Почему же, ваше превосходительство?

– А потому, ваше превосходительство, что тут нет именно того, что мы, люди образованные, привыкли понимать под именем нужд и желаний.

– Согласитесь, однако ж, что нужды и желания могут рождаться не только сами по себе, но и посредством возбужде-

ния, ваше превосходительство! Оставьте, например, меня в покое – ну, я, конечно, не буду иметь ни нужд, ни желаний, а предпиши-ка мне кто-нибудь: «Ты, любезный, обязан иметь нужды и ощущать желания»... поверьте, ваше превосходительство, что те и другие явятся непременно!

– Все это очень может быть, но позвольте один нескромный вопрос: лучше ли будет?

– Если ваше превосходительство изволите рассматривать вопрос с этой точки зрения...

– Не видим ли мы примеров, что желания только отравляют жизнь человека?

– Этого, конечно, нельзя отрицать-с...

– Не встречаем ли мы на каждом шагу, что те люди самые счастливые, у которых желания ограничены, а нужды не выходят из пределов благоразумия?

– Это все конечно-с...

– Следовательно, ваше превосходительство, на это дело надо взглянуть не с одной, а с различных точек зрения...

Иван Фомич соглашается безусловно, и разговор, по-видимому, истощается. Сознаюсь откровенно, мы не недовольны этим. Уже давно заглядываемся мы на зеленые столы, расставленные в зале, а искренний приятель мой, Никита Федорыч Птицын (званием помещик), еще полчаса тому назад, предварительно толкнув меня в бок, сказал мне по секрету: «Что за чушь несут наши генералы! давно бы пора за дело, а потом и водку пить!» И хотя я в то время старался

замять такой странный разговор, но внутренно – не смею в том не покаяться! – не мог не пожелать, чтобы Иван Фомич как можно скорее согласился с генералом и чтоб все эти серьезные дела были отложены.

Но и на этот раз надеждам нашим не суждено сбыться, потому что едва лишь генерал открывает рот, чтоб сказать: «А не пора ли, господа, и за дело?» – как двери с шумом отворяются, и в комнату влетает генерал Рылонов (в сущности, он не генерал, но мы его в шутку так прозвали), запыхавшийся и озабоченный.

– Слышали, ваше превосходительство? – обращается он к хозяину дома. – Шалимов в трубу вылетел!

– Съел Забуддыгин! – восклицаем мы хором.

– Скажите пожалуйста! – отделяется голос Голубчикова, – и так-таки без всяких онёров?

– Безо всего-с; даже никуда не причислен-с.

– Что называется, умер без покаяния! – справедливо замечает Иван Фомич.

Пехотный командир дико гогочет. Голубчиков долго не может прийти в себя от удивления и время от времени повторяет: «Скажите пожалуйста!»

– А ведь нельзя сказать, чтоб глупый человек был! – говорит Генералов.

– Ничего особенного, – возражает Рылонов.

– Все около свечки летал!

– А главное, то забавно, что свечку-то нашу сальную за

солнце принимал...

– Ан и обжег крылышки!

– Ах, господа, господа! Как знать, чего не знаешь! Как солнышка-то нет, так и сальную свечку поневоле за солнце при-
мешь! – говорит Голубчиков, впадая, по случаю превратно-
сти судеб, в сугубую сентиментальность.

– Все, знаете, какого-то смысла искал...

– Даже в нашей канцелярской работе...

– Смешно слушать!

– Всех столоначальников с ног смотал!

– И что, например, за расчет был ссориться с Забулдыги-
ным? – продолжает Голубчиков, – решительно не могу по-
нять! Я сам вот, как видите, не раз ему говорил: «Да плюнь-
те вы на него, Николай Иванович!» Так нет, куда тебе. «Плю-
нуть-то, говорит, я на него, пожалуй, плюну, только ведь и
растереть потом надо, ваше превосходительство!»

– Ан вот и растирай теперь!

– Грани теперь в Питере мостовую, покуда приличное ме-
сто отыщешь...

– Это, как по-нашему говорится: *cherche* -замечает коман-
дир.

– А плюнул бы, так и все бы ладно!

– Оно конечно, ваше превосходительство, что лучше плю-
нуть, но ведь, с другой стороны, и сердце иногда болит! –
возражает статский советник Генералов.

– И ой-ой, еще как болит! – развивает Иван Фомич.

– И все-таки плюнуть! – упорствует Голубчиков, – да помилуйте, господа, что ж это за ребячество! Ну, вы представьте себе, например, меня: ну, иду я по улице и встречаю на пути своем неприличную кучу... Неужели я стану огрызаться на нее за то, что она на пути моем легла? нет, я плюну на нее и, плюнувши, осторожно обойду.

– Нет-с, ваше превосходительство, я насчет этого не могу пристать к вашему мнению, – возражает Иван Фомич, – конечно, на кучу, так сказать, неодушевленную и, следовательно, не своим произволом накиданную, сердиться смешно, но в овраг ее свалить все-таки следует-с.

– А если овраг уж завален?

– И, ваше превосходительство! в губернском городе чтоб не нашлось места для нечистот! – да это боже упаси!

– А я все-таки продолжаю утверждать, что следует плюнуть, и больше ничего!

– Нет, вы мне объясните, за что они передрались? – спрашивает Генералов.

– Да верно ли это?

– Ты, генерал, не соврал ли?

– Ведь ты, ваше превосходительство, здоров врать-то!

– Помилуйте-с, сейчас из клуба-с; Забулдыгин сам всем рассказывает!

– Чай, шампанское на радостях лакает?

– Не без того-с.

– Ну, значит, крупно наябедничал!

– А жаль молодого человека. Еще намерен был говорить я ему: «Плюньте, Николай Иванович!» – так нет же!

Для объяснения этой сцены считаю не излишним сказать несколько слов о Шалимове и Забуддыгине.

Шалимова мы вообще не любили. Человек этот, будучи поставлен природою в равные к нам отношения, постоянно предьявлял наклонности странные и даже отчасти подлые. Дружелюбный с низшим сортом людей, он был самонадеян и даже заносчив с равными и высшими. К красотам природы был равнодушен, а к человеческим слабостям предосудительно строг. Глумился над пристрастием генерала Голубчикова к женскому полу, хотя всякий благомыслящий гражданин должен понимать, что человек его лет (то есть преклонных), и притом имеющий хорошие средства, не может без сего обойтись. Действия Забуддыгина порицал открыто и (что всего важнее) позволял себе разные колкости насчет его действительно не соответствующего своему назначению носа. Вообще же видел предметы как бы наизнанку и подходил к человеку, который, не воздвигнув еще нового здания, желает подкопаться под старое. Желание тем более пагубное, что в последнее время уже неоднократно являлись примеры исполнения его. Следовательно, удаление такого человека должно было не огорчить, но обрадовать нас. И думаю, что принесенное Рылоновым известие произвело именно подобного рода действие; хотя же генерал Голубчиков и заявил при этом некоторое сожаление, но должно полагать, что это

сделано им единственно по чувству христианского человеколюбия.

Что же касается Забулдыгина, то человек этот представляет некоторый психический ребус, доселе остающийся неразгаданным. По-видимому, и в мнениях о природе вещей он с нами не разнится, и на откупа смотрит с разумной точки зрения, и в гражданских доблестях никому не уступит; тем не менее есть в нем нечто такое, что заставляет нас избегать искренних к нему отношений. Это «нечто» есть странный некий административный лай, который, как бы независимо от него самого, природою в него вложен. Иной раз он, видимо, приласкать человека хочет, но вдруг как бы чем-либо поперхнется и, вместо ласки, поднимет столь озлобленный лай, что даже вчуже слышать больно. Такие люди бывают. Иной даже свой собственный нос в зеркале увидит и тут же думает: «А славно было бы, кабы этот поганый нос откусить или отрезать!» Но если он о своем носе так помышляет, то как мало должен пещись о носах, ему не принадлежащих! Очевидно, сии последние не могут озабочивать его нисколько. Многие полагают, что озлобление Забулдыгина происходит частью от причин гастрических (пьянства и обжорства), частью же от огорчения, ибо, надо сказать правду, Забулдыгин немало-таки потасовок в жизни претерпел. Но нам от этого не легче, потому что лай Забулдыгина не только на Шалимова с компанией, но и на всех нас без различия простирается, хотя с нашей стороны, кроме уважения к отеческим преда-

ниям и соблюдения издревле установленных в палатах обрядов, ничего противоестественного или пасквильного не допускается. А потому в сем отношении поступки Забуддыгина я ни с чем другим сравнить не умею, кроме злобы ограниченной от породы шавки, лающей на собственный свой хвост, в котором, от ее же неопрятности, завелись различные насекомые.

Пора, однако ж, кончить с Шалимовым и Забуддыгиным, воспоминание о которых отравляет приятные часы нашего существования. Уже давно ждут нас гостеприимные зеленые столы, и генерал Голубчиков с любезной улыбкой останавливается перед каждым из нас, предлагая по карточке. В продолжение последующих двух часов со всех сторон раздаются лишь веселые возгласы, и могу сказать смело, что даже проигрыш денег, обыкновенно располагающий человека к скорби и унынию, не нарушает общего приятного настроения духа.

В особенности отличается пехотный командир, который за картами хочет вознаграждать себя за несколько часов тягостного молчания, наложенного им на себя в продолжение вечера.

– Греческий человек Трефандос! – восклицает он, выходя с трэф.

Мы все хохочем, хотя Трефандос этот является на сцену аккуратно каждый раз, как мы садимся играть в карты, а это случается едва ли не всякий вечер.

– Фики! – продолжает командир, выходя с пиковой масти.

– Ой, да перестань же, пострел! – говорит генерал Голубчиков, покатываясь со смеху, – ведь этак я всю игру с тобой перепутаю.

Таким образом мы приятно проводим остальную часть вечера, вплоть до самого ужина.

Кто что ни говори, а карты для служащего человека вещь совершенно необходимая. День-то-деньской слоняясь по правлениям да по палатам, поневоле умаешься и захочешь отдохнуть. А какое отдохновение может быть приличнее карт для служащего человека? Вино пить – непристойно; книжки читать – скучно, да пишут нынче все какие-то безнравственности; разговором постоянно заниматься – и нельзя, да и материю не скоро отыщешь; с дамами любезничать – для этого в наши лета простор требуется; на молодых утешаться – утешенья-то мало видишь, а все больше озорство одно... Словом сказать, везде как будто пустыня. А карты – святое дело! За картами и время скорее уходит, и сердцу волю даешь, да и не проболтаешься. Иной раз и чешется язык что-нибудь лишнее сказать, ан тут десять без козырей соседу придет – ну и промолчишь поневоле. Нет, карты именно благодетельная для общества вещь – это не я один скажу.

Но вот и ужин. Кушанья подаются не роскошные, но сытные и здоровые. Подкрепивши себя рюмкой водки, мы весело садимся за стол и с новой силой возобновляем прерванную преферансом беседу. Вспоминается милое старое

время, вспоминаются молодые годы и сопровождавшие их канцелярские проказы, вспоминаются добрые начальники, охранители нашей юности и благодетели нашей старости, — и быстро летят часы и минуты под наплывом этих веселых воспоминаний!

Так проводим мы свободные от служебных занятий часы, и могу сказать по совести, что наступающий затем сумрак ночи не вызывает за собой никаких видений, которые могли бы возмутить наш душевный покой. И в самом деле, перелистывая книгу моей жизни (книгу, для многих столь горькую), я нахожу в ней лишь следующее:

Такого-то числа, встал, умылся, помолился богу, был в палате, где пользовался правами и преимуществами, предоставленными мне законом и древними обычаями родины; обедал, после обеда отдыхал, вечер же провел в безобидных для ближнего разговорах и увеселениях.

Такого-то числа, встал, умылся, помолился богу, был в палате и т.д., то есть одно и то же ровно столько раз, сколько по благости провидения, суждено будет прожить мне дней в земной сей юдоли.